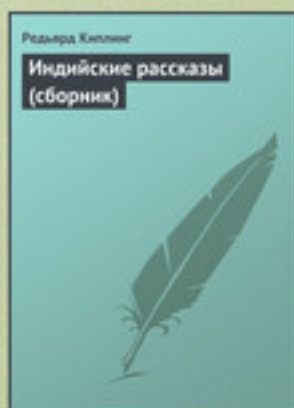


Редьярд Киплинг

Воскресение на родине



*Часть сборника
Индийские рассказы (сборник)*



Редъярд Киплинг
Воскресение на родине

«Public Domain»

1895

Киплинг Р. Д.

Воскресение на родине / Р. Д. Киплинг — «Public Domain», 1895

«По его невоспроизводимой манере произносить букву «р» я узнал в нем уроженца Нью-Йорка; а когда он во время нашего длинного, медленного пути к западу от Ватерлоо стал распространяться о красоте своего города, я, объявив, что ничего не знаю об этом городе, не сказал больше ни слова. Удивлённый и восхищённый вежливостью лондонского носильщика, незнакомец дал ему шиллинг за то, что он пронёс его мешок на расстоянии около пятидесяти ярдов; ньюйоркец подробно осмотрел уборную первого класса, которой лондонская и юго-западная дороги позволяют иногда пользоваться бесплатно; потом с чувством страха, смешанного с презрением, но сильно заинтересованный, стал смотреть в окно на аккуратненький английский пейзаж, словно погруженный в воскресный покой. Я наблюдал, как выражение удивления постепенно усиливалось на его лице...»

© Киплинг Р. Д., 1895

© Public Domain, 1895

Содержание

Редьярд Джозеф Киплинг Воскресение на родине

По его невоспроизводимой манере произносить букву «р» я узнал в нем уроженца Нью-Йорка; а когда он во время нашего длинного, медленного пути к западу от Ватерлоо стал распространяться о красоте своего города, я, объявив, что ничего не знаю об этом городе, не сказал больше ни слова. Удивлённый и восхищённый вежливостью лондонского носильщика, незнакомец дал ему шиллинг за то, что он пронёс его мешок на расстоянии около пятидесяти ярдов; ньюйоркец подробно осмотрел уборную первого класса, которой лондонская и юго-западная дороги позволяют иногда пользоваться бесплатно; потом с чувством страха, смешанного с презрением, но сильно заинтересованный, стал смотреть в окно на аккуратненький английский пейзаж, словно погруженный в воскресный покой. Я наблюдал, как выражение удивления постепенно усиливалось на его лице. Почему вагоны так коротки и высоки? Почему некоторые товарные вагоны покрыты брезентами? Какое жалованье может получать инженер? Где же то многолюдное население Англии, о котором он столько читал? Какое положение всех этих людей, что проезжают по дороге на трициклетах? Когда мы будем в Плимуте?

Я сказал ему все, что знал, и многое, чего не знал. Он отправлялся в Плимут, чтобы принять участие в консультации насчёт болезни одного из его соотечественников, который удалился в окрестности этого города, чтобы излечиться от нервной диспепсии. Да он сам доктор по профессии, и каким образом кто-нибудь в Англии может страдать нервным расстройством – это превосходит его понимание. Никогда ему не грезилась такая успокаивающая атмосфера. Даже сильный шум движения в Лондоне – монастырский покой по сравнению с городами, которые он мог бы назвать; а сельская местность – это рай. Долгое пребывание там свело бы его с ума, признавался он; но на несколько месяцев – это самое чудесное лечение отдыхом.

– Я буду приезжать каждый год, – сказал он в порыве восторга, когда мы ехали среди двух изгородей из белого и розового боярышника в десять футов высоты. – Видеть все то, о чем читал! Конечно, для вас это не поразительно. Я думаю, вы – гражданин этой страны. Что это за совершенная страна! Разве это привитое? Вероятно, уже прирождённое. А там, где я жил... Эй, что это такое?

Поезд остановился при ярком солнечном свете на станции Фремлингэм-Адмирал, которая состояла исключительно из столба с дощечкой с надписью, двух платформ и мостика наверху; не было даже разъездных путей. Никогда, насколько я знал, здесь не останавливался ни один из самых медленных местных поездов; но в воскресенье все возможно на лондонской и юго-западной дорогах. Слышно было жужжание разговоров в вагонах и ещё более громкое жужжание шмелей в кустах желтофиолей на берегу. Мой спутник высунулся из окна и с наслаждением втянул воздух.

– Где мы теперь? – спросил он.

– В Уильтшайре, – сказал я.

– А! В такой стране человек должен был бы уметь писать романы даже левой рукой. Ну, ну. Итак, это приблизительно страна Тесса, не правда ли? Я чувствую себя как будто я в книге. А у кондуктора что-то на уме. Чего он добивается?

Кондуктор, великолепно одетый, со значком и с поясом, шёл по платформе размеренным, официальным шагом и размеренным же, официальным тоном говорил у дверей каждого вагона:

– Нет ли у кого-нибудь из джентльменов пузырька с лекарством? Один джентльмен по ошибке взял пузырёк с опиумом.¹

¹ Недоразумение, на котором основан этот рассказ, происходит от двойного значения выражения «has taken» – взял и

Через каждые пять шагов он смотрел на официальную телеграмму в руке, словно освежая себе память, и повторял свои слова. Мечтательное выражение лица моего спутника – он унёсся вдаль с Тессом – исчезло с быстротой молнии. Со свойственной его соотечественникам способностью быстро приспосабливаться к обстоятельствам, он оказался на высоте положения, сбросил с сетки свой мешок, открыл его, и я услышал звон пузырьков.

– Узнайте, где этот человек, – отрывисто проговорил он. – Я нашёл тут средство, которое может помочь ему, если он ещё в состоянии глотать.

Я поспешно побежал за кондуктором вдоль ряда вагонов. В последнем купе слышался страшный шум – кто-то громко кричал, чтобы его выпустили, и ударял ногами в дверь. Я не разглядел доктора из Нью-Йорка, который быстро шёл по направлению к купе, неся в руке синий стакан из умывальной, наполненный до краёв. Кондуктора я увидел у паровоза. Он неофициально почёсывал в голове и шептал:

– Я выбросил какую-то бутылочку с лекарством в Эндове́ре, я уверен, что выбросил.

– Во всяком случае, скажи ещё раз, – сказал машинист. – Приказание всегда приказание.

Повтори ещё раз.

Кондуктор ещё раз прошёл вдоль вагонов. Я шёл за ним по пятам, стараясь привлечь его внимание.

– Минутку, одну минутку, сэ́р, – сказал он, размахивая рукой, которая одним взмахом могла бы изменить направление движения на лондонской и юго-западной дорогах. – Не было ли у кого-нибудь пузырька с лекарством? Один джентльмен взял по ошибке пузырёк с ядом, опиумом.

– Где этот человек? – задыхаясь, спросил я.

– В Уокинге. Вот отданное мне приказание. – Он показал мне телеграмму, в которой было указано, что следовало ему говорить. – Должно быть, он оставил в поезде один пузырёк и взял по ошибке другой. Он в отчаянии телеграфировал из Уокинга, а теперь я вспомнил и почти уверен, что я выбросил какой-то пузырёк в Эндове́ре.

– Так в поезде нет человека, который принял яд?

– Господи, Боже мой, сэ́р! Конечно, нет. Никто яду не принимал. Он просто вёз его с собой, держал в руках. Он телеграфирует из Уокинга. Мне было приказано опросить всех в поезде; я это сделал, и мы опоздали на четыре минуты. Вы входите, сэ́р? Нет? Так отойдите!

За исключением английского языка, может быть, нет ничего ужаснее порядков на английской железнодорожной линии. Мгновение перед тем казалось, что мы проведём целую вечность на Фремлингэм-Адмирал, а теперь я видел уже, как хвост поезда исчезал за изгибом выемки.

Но я был не один. На одной из скамеек нижней платформы сидел самый громадный матрос, какого я видал в жизни, размягчённый и ставший любезным (он широко улыбался) от выпитого им вина. В огромных руках он нежно держал пустой стакан с буквами: «Л. Ю. З. Д.»²,² внутри которого виднелись полосы сине-голубого цвета – следы какой-то жидкости. Перед ним, положив ему на плечо руку, стоял доктор. Подойдя ближе, я услышал, как он говорил:

– Потерпите ещё минуту-другую, и вам будет так хорошо, как никогда в жизни. Я останусь с вами, пока вам не станет лучше.

– Господи, Боже мой! Да мне совсем хорошо, – сказал матрос. – Никогда в жизни не чувствовал себя лучше.

Доктор обернулся ко мне и понизил голос:

– Он мог умереть, пока этот дурак кондуктор расхаживал. Однако я помог ему. Лекарство должно подействовать через пять минут. Не знаю, как бы нам заставить его ходить.

принял.

² Лондонская юго-западная дорога.

В эту минуту я испытывал такое чувство, словно мне на живот положили мешок с семью фунтами колотого льда.

– Как, как вам удалось сделать это? – задыхаясь, проговорил я.

– Я спросил его, не хочет ли он выпить? Он так сильно колотил ногами, что отлетали куски дерева от стены, вероятно, благодаря его мощному телосложению. Он сказал, что ради выпивки пойдёт куда угодно; ну я и выманил его на платформу и зарядил. Хладнокровный вы народ, британцы! Поезд ушёл, и, по-видимому, никто и не подумал о нем.

– Мы опоздали на поезд, – сказал я.

Он с любопытством взглянул на меня.

– Будет другой до заката солнца, если это единственное, что беспокоит вас. Носильщик, когда идёт следующий поезд?

– Семь сорок пять, – сказал единственный носильщик и вышел в калитку.

Было три часа двадцать минут жаркого, сонного, послеполуденного времени. Станция была совершенно пуста. Матрос закрыл глаза и покачал головой.

– Плохо дело, – сказал доктор. – С ним, а не с поездом. Надо как-нибудь разбудить его, разбудить и заставить ходить.

Насколько мог быстро, я объяснил положение дел, и лицо доктора из Нью-Йорка приняло бронзово-зелёный цвет. Потом он отчаянно выругал нашу знаменитую конституцию, проклял английский язык, корень его, разветвления, грамматические обороты и неясное словопроизводство. Его пальто и мешок лежали рядом со спящим. Он осторожно присел, и тут я заметил плутоватое выражение в его глазах.

Не знаю, какой дьявол овладел им, но он накинул на плечи своё летнее пальто. Говорят, что спящий скорее просыпается от лёгкого шума, чем от сильного. Только доктор продел руки в рукава, гигант проснулся и вцепился в шёлковый воротник горячей правой рукой. На лице его отражались ярость и стремление проявить её в действии.

– Мне не так хорошо, как прежде, – сказал он голосом, идущим из живота. – Вы подождёте меня, подождёте.

Он тяжело дышал сквозь закрытые губы.

В разговоре со мной доктор особенно настаивал на приверженности к законности (не говоря уже о кротости) его так оклеветанной страны. А между тем (впрочем, может быть, его раздражала какая-нибудь пуговица) я увидел, как его правая рука потянулась к правому бедру, ухватила за что-то и снова появилась пустой.

– Он не убьёт вас, – сказал я. – Вероятнее всего, он подаст на вас в суд, насколько я знаю свой народ. Лучше давайте ему время от времени денег.

– Если он будет спокоен, пока не подействует лекарство, то все будет хорошо, – ответил доктор. – Если же нет – меня зовут Эмори-Джулиан Б. Эмори – 193-я улица, угол Медисонской и...

– Мне никогда не было так дурно, – внезапно проговорил матрос. – Зачем вы дали мне это питьё?

Дело приняло такой личный характер, что я занял стратегическое положение на пешеходном мостике и, став в самом центре, наблюдал за происходившим.

Я видел белую дорогу, шедшую по краю Сольсберийской равнины, лишённую всякой тени на протяжении нескольких миль, и на половине её пятно – спину одинокого носильщика, возвращавшегося во Фремлингэм-Адмирал (если такое место действительно существовало), к поезду, приходящему в семь сорок пять. Тихо звонил колокол какой-то невидимой церкви. Слева от дороги, среди каштановых деревьев, слышался шорох, а вблизи слышно было, как овцы пережёвывали жвачку.

Вокруг царил покой Нирваны. Я предался размышлениям, облокотясь на горячую железную перекладину пешеходного моста (за переход через который брали сорок шиллингов), и

убедился, как никогда раньше, что последствия наших поступков бесконечны, вечны. Даже самое лёгкое воздействие нашей личности на жизнь наших ближних оказывает влияние все расширяющееся, подобно кругам на поверхности воды от брошенного камня. Сами боги не могут знать, где предел вызванного нами действия. Ведь, например, не кто иной, как я, молча поставил перед доктором стакан из уборной первого класса того поезда, который теперь шёл на всех парах в Плимут. Но духом, по крайней мере, я был в миллионе миль расстояния от того несчастного человека другой национальности, который выдумал приложить свой неопытный палец к чужой жизни. Невидимое колесо жизни подхватило его и потянуло вверх и вниз по освещённой солнцем платформе. Эти двое людей словно учились польке-мазурке, и припев их песни, произносимый низким голосом, был: «Зачем вы дали мне это питьё?»

Я увидел блеск серебра в руке доктора. Матрос взял серебро и опустил его в карман левой рукой; но сильная правая ни на минуту не отпускала воротника пальто доктора, и, по мере того как приближался кризис, голос, похожий на рёв быка, становился все громче и громче: «Зачем вы дали мне это питьё?»

Они отошли под большими двенадцатидюймовыми балками пешеходного моста к скамье, и я понял, что час настал. Лекарство производило своё действие. Волны белого и синего цвета сменялись на лице матроса; наконец, оно стало ровного жёлтого цвета и – случилось то, что должно было случиться.

Я вспомнил о взрыве адской машины, о гейзерах в Йеллостоунском парке; об Ионе и его ките; но живой оригинал, который я видел сверху в ракурсе, превзошёл все это. Шатаясь, он подошёл к большой деревянной скамье, укреплённой железными скобами в прочном каменном основании, и ухватился за неё левой рукой. Рука эта дрожала и тряслась как в лихорадке. Правая же продолжала держать ворот доктора так, что оба тряслись в одном пароксизме, как два маятника, вибрирующих вместе; я издали трясся заодно с ними.

Это было нечто колоссальное, громадное; но английского языка не хватает для выражения некоторых явлений. Только французский язык, кариатидный французский язык Виктора Гюго, мог бы описать это; поэтому я сожалел и вместе с тем смеялся, поспешно придумывая и отбрасывая неподходящие прилагательные. Ярость припадка прошла и страдалец полуупал-полувстал на колени на скамье. Теперь он призывал Бога и свою жену, как раненый бык призывает уцелевшее стадо.

Замечательно, что он уже более не употреблял грубых выражений: это ушло вместе со всем остальным. Доктор показал золото. Оно было взято и удержано. Удержался все-таки и воротник пальто.

– Если бы я мог стоять, – с отчаянием ревел великан, – я бы исколотил вас!.. вас с вашим питьём! Я умираю... умираю-умираю!

– Это вы только так думаете, – сказал доктор. – Увидите, что это принесёт вам много пользы, – и, вменяя в заслугу властную необходимость, прибавил: – Я останусь с вами. Если бы вы отпустили меня на минуту, я дал бы вам кое-что для приведения вас в порядок.

– Вы уже привели меня в порядок, проклятый анархист! Вырвать хлеб изо рта трудящегося англичанина! Но я... я буду держать вас, пока не поправлюсь или не умру. Я не сделал вам ничего дурного. Предположим, что я был немного навеселе. Меня раз лечили в больнице желудочным насосом. Я понимал это, а теперь не постигаю, что это так медленно убивает меня?

– Через полчаса вам будет совсем хорошо. Зачем мне убивать вас, как вы думаете? – спросил доктор, который происходил из логической расы.

– Почём я знаю? Рассказывайте в суде. Получите семь лет за это, человекоубийца вы этакий! Вот вы кто – настоящий человекоубийца. В Англии есть правосудие, скажу вам; да и моё начальство подаст на вас. Мы здесь не допускаем фокусов с внутренностями. Одну женщину засадили на десять лет за гораздо меньшее преступление. И вам придётся уплатить много,

много сот фунтов, кроме пенсии моей старухе. Вот увидите, лекарствующий иностранец. Где у вас разрешение на это? Попадёт вам, увидите!

Тут я заметил то, как часто замечал и раньше, что человек, не особенно боящийся пререканий с иностранцем, испытывает самый отчаянный страх перед действием иностранного закона. Голос доктора напоминал флейту, когда он ответил с утончённой вежливостью:

– Но ведь я дал вам очень много денег... три фунта, я думаю.

– Что такое три фунта за отравление такого человека, как я! Ух! Снова начинается.

Во второй раз скамейка зашаталась во все стороны. Я отвернулся.

Стоял чудеснейший майский солнечный день. Невидимые течения воздуха изменились, и вся природа, казалось, вместе с тенями от каштановых деревьев вошла в покой наступившей ночи. Но я знал, что до конца дня ещё много длинных-длинных часов бесконечных английских сумерек. Я был рад, что живу, рад отдаться течению Времени и Судьбы; впитывать всеми порами великий покой и любить мою страну с преданностью, которая особенно расцветает, когда между ней и человеком находится три тысячи миль. И что за райский сад эта удобренная, подстриженная и орошённая страна! Человек может расположиться на отдых в открытом поле и чувствовать себя дома и в большей безопасности, чем в самых величественных зданиях чужих стран. А главная радость состояла в том, что все это неоспоримо принадлежало мне – хорошо подстриженные изгороди, безукоризненные дороги, сплошь покрытые колючим кустарником места, молодые перелески, опоясанные яблонями, кусты боярышника и большие деревья. Лёгкий порыв ветра, осыпавший лепестками боярышника блестящие рельсы, донёс до меня как будто запах свежих кокосовых орехов, и я понял, что где-нибудь, куда не проникает мой взгляд, цветёт золотой дрок. Линией на коленях благодарил Бога, когда в первый раз увидел поле, усеянное дроком. Между прочим, и матрос стоял также на коленях. Но он не молился. Он был просто отвратителен.

Доктору пришлось наклониться над ним, отвернувшись к спинке скамьи; из того, что я видел, я пришёл к заключению, что матрос умер. Если это было действительно так, то мне следовало бы уйти; но я знал, что, пока человек отдаётся течению обстоятельств, стремясь ко всему, что случается на его пути, и ни с чем не борясь, ничего дурного не может случиться с ним. Закон настигает изобретателя планов, прожектёра, но никак не философа. Я знал, что, когда игра окончится, сама судьба удалит меня от трупы и очень жалел о докторе.

Вдали, вероятно, на дороге, ведущей в Фремлингэм-Адмирал, показался какой-то экипаж и лошадь, единственный древний кабриолет, встречающийся в случае нужды почти в каждом селе. Предмет этот продвигался к станции; ему нужно было проехать вдоль дорожки между изгородями, внизу железнодорожного моста и выехать со стороны доктора. Я был в центре. Вот он, мой снаряд! Когда он подъедет, что-нибудь да случится. Все остальное словно не касалось моей глубоко заинтересованной этим случаем души.

Доктор у скамьи повернул, насколько ему позволяло его скорченное положение, голову через левое плечо и приложил правую руку к губам. Я сдвинул шляпу и поднял брови в знак вопроса. Доктор закрыл глаза и медленно кивнул раза два-три головой, приглашая меня подойти. Я осторожно спустился и нашёл все, как ожидал. Матрос, казалось, крепко спал, но рука его продолжала держать ворот доктора и при малейшем движении (а положение доктора было, действительно, очень неудобное) машинально сжимала крепче, как рука больного крепче сжимает руку сиделки. Он почти присел на пятки и, падая все ниже, стащил доктора влево.

Доктор сунул в карман свободную правую руку, вытащил какие-то ключи и покачал головой. Матрос пробурчал что-то во сне. Я молча порылся в своём кармане, вынул соверен и зажал его между большим и указательным пальцами. Доктор снова покачал головой. Не денег не хватало для его покоя. Его мешок упал со скамьи на землю. Он взглянул в его сторону и открыл рот в форме «о». Понять было не трудно; но когда я открыл мешок, то указательный

палец правой руки доктора разрезал воздух. С большой осторожностью я вынул из мешка нож, которым срезают мозоли на ногах.

Доктор нахмурился и движениями первого и второго пальцев изобразил движение ножниц. Я снова порылся и нашёл пару остроносых ножниц, способных взрезать внутренности слона. Потом доктор опустил своё левое плечо так, что правая рука матроса опёрлась на скамью, и подождал одно мгновение, пока потухший вулкан снова зашумел. Ниже, все ниже опускался доктор, пока голова его не очутилась как раз наравне с большим волосатым кулаком, так что натянутый воротник совсем ослабел. Тогда меня озарило: я понял, в чем дело.

Я начал немного левее его позвоночника и вырезал большой полумесяц из его нового летнего пальто, доведя его, насколько было возможно, до левого бока доктора (правого матроса). Затем я быстро перешёл на другую сторону, стал сзади скамьи и прорезал переднюю часть пальто с шёлковыми отворотами слева так, что оба разреза сошлись.

Осторожно, как черепахи на его родине, доктор отодвинулся направо с видом пойманного вора, вылезшего из-под кровати, и распрямился на свободе. Полоска чёрного сукна виднелась сквозь его испорченное летнее пальто.

Я вложил ножницы обратно в мешок, защёлкнул замок и подал ему как раз в то время, когда стук колёс кабриолета глухо раздался под железнодорожным сводом.

Кабриолет проехал шагом мимо калитки станции; доктор шёпотом остановил его. Экипаж ехал за пять миль, чтобы привезти из церкви какого-то человека – фамилии его я не слышал, – лошади которого захромали. Отправлялся кабриолет как раз в то место, которое жаждал увидеть доктор, и он наобещал кучеру с три короба за то, чтобы тот отвёз его к какой-то его прежней страсти – звали её Элен Блэз.

– А вы разве не поедете? – сказал доктор, запихивая пальто в мешок.

Кабриолет так очевидно был предназначен для доктора и ни для кого другого, что я не имел к нему никакого отношения. «Наши дороги, – думал я, – расходятся». К тому же мне хотелось посмеяться.

– Я останусь здесь, – сказал я. – Это очень красивая местность.

– Боже мой! – пробормотал он тихо, запирая дверцу, и я понял, что это была молитва.

Он исчез из моей жизни, а я направился к железнодорожному мосту. Необходимо было пройти мимо скамьи, но нас разделяла калитка. Стук отъезжавшего кабриолета разбудил матроса. Он подполз к скамье и злобным взглядом смотрел на спускавшийся по дороге экипаж.

– Там внутри человек, который отравил меня! – кричал он. – Он вернётся, когда я уже похолодею. Вот моя улика! – Он размахивал оставшейся в его руках частью пальто.

Я пошёл своей дорогой, потому что был голоден. Селение Фремлингэм-Адмирал лежит в добрых двух милях от станции, и я нарушил святую тишину вечера громкими взрывами хохота. Наконец я увидел гостиницу – благословенную гостиницу с соломенной крышей и пионами в саду – и заказал себе комнату наверху. Женщина с удивлённым видом принесла мне ветчины и яиц. Я сел у окна и стал есть, смеясь между глотками, так как мне не удалось ещё вволю нахотаться. Я долго сидел, распивая пиво и куря, пока свет в тихой улице не изменился, и я начал подумывать о поезде, отходившем в семь часов сорок пять минут и о покидаемой мною сцене из «Тысячи и одной ночи».

Сойдя вниз, я прошёл мимо великана в одежде из кротовых шкур, который наполнял собой всю распивочную с низким потолком. Перед ним стояло много пустых тарелок и целый ряд обитателей Фремлингэм-Адмирал, которым он рассказывал удивительные вещи об анархии, похищении людей, подкупах и Долине Смерти, откуда он только что вышел. Говоря, он ел, а когда ел, то и пил, потому что внутри него было много места; платил он по-королевски, распространялся о справедливости и законе, перед которым все англичане равны, а все иностранцы и анархисты – дрянь и слякоть.

По пути к станции он прошёл мимо меня большими шагами, высоко подняв голову, твёрдо ступая ногами и сжав кулаки. Дыхание тяжело вырывалось у него из груди. В воздухе стоял чудесный запах – запах белой пыли, потоптанной крапивы и дыма, вызывающий у человека, который редко видит свою родину, слезы, подступающие к горлу; бесконечно знаменательный запах цивилизации, существующей с незапамятных времён. Прогулка была чудесная; останавливаясь на каждом шагу, дошёл до станции как раз в ту минуту, когда единственный сторож её зажег последнюю лампу и раздавал билеты четырём-пяти местным жителям, которые, не довольствуясь мирным покоем, решили попутешествовать. Оказалось, что матросу билета не было нужно. Он сидел на скамье и с ожесточением топтал ногами стакан. Я остался во тьме, на конце платформы, заинтересованный – благодарение Богу, как всегда, – всем окружающим. На дороге послышался скрип колёс. Матрос встал, когда экипаж приблизился, вышел из калитки и схватил лошадь под уздцы так, что она присела на задние ноги. То был тот же благодетельный кабриолет, и на одно мгновение я подумал, неужели доктор был настолько безумен, что решил навестить своего пациента?

– Ступай прочь; ты пьян, – сказал кучер.

– Вовсе не пьян, – сказал матрос. – Я дожидался тут много часов. Выходи, негодяй... что сидишь там?

– Поезжай, кучер, – сказал голос – свежий, английский голос.

– Ладно, – сказал матрос. – Не хотел меня слушать, когда я был вежлив. Ну, а теперь выйдешь?

В экипаже образовалась зияющая пропасть – матрос сорвал дверцу с петель и усердно обыскивал внутренности его. В ответ он получил удар хорошо обутой ноги, и из экипажа вышел, не в восторженном настроении, припрыгивая на одной ноге, кругленький, седой англичанин, из-под мышек которого валились молитвенники, а из уст вылетали выражения, совершенно не похожие на гимны.

– Иди-ка сюда, человекоубийца! Ты думал, что я умер, не так ли? – ревел матрос.

Достопочтенный джентльмен подошёл к нему, будучи не в силах произнести ни слова от бешенства.

– Убивают сквайра! – крикнул кучер и упал с козёл на шею матросу.

Нужно отдать справедливость всем обитателям Фремлингэм-Адмирал, которые находились на платформе: они ответили на призыв в лучшем духе феодализма. Сторож ударил матроса по носу штемпелем для билетов, а три пассажира третьего класса схватили его за ноги и освободили пленника.

– Пошлите за констеблем! Заприте его! – сказал последний, поправляя воротничок, и все вместе втокнули матроса в чулан для ламп и повернули ключ; кучер оплакивал сломанный экипаж.

До тех пор матрос, который только желал правосудия, благородно сдерживался. Но тут он выкинул на наших глазах шутку, изумившую всех нас. Дверь чулана была крепкая и не подалась ни на дюйм; тогда он сорвал раму окна и выбросил её на улицу. Сторож громким голосом считал убытки, а остальные, вооружившись сельскохозяйственными инструментами из сада при станции, беспрестанно размахивали ими перед окном; сами же крепко прижались к стене и убеждали пленника подумать о тюрьме. Насколько они понимали, он отвечал невпопад; но видя, что ему преграждён выход, взял лампу и бросил её через разбитое окно. Лампа упала на рельсы и потухла. С непостижимой быстротой за ней последовали остальные – в общем пятнадцать, словно ракеты во тьме, а когда матрос дошёл до последней (не думаю, чтобы у него был какой-нибудь определённый план), ярость его иссякла, так как действие смертоносного напитка доктора возобновилось под влиянием энергичных движений и очень обильной еды, и произошёл последний, отчаянный катаклизм. В это время мы услышали свисток поезда.

Все стремились увидеть как можно лучше сцену разрушения; от станции запах керосина подымался до самого неба, и паровоз трясся по разбитому стеклу, словно такса, бегающая по стёклам в парнике с огурцами. Кондуктор должен был выслушать рассказ о приключении (сквайр передал свою версию грубого нападения), и, когда я сел на моё место, вдоль всего поезда из окон выглядывали лица.

– В чем дело? – спросил один молодой человек, когда я вошёл в вагон. – Верно, пьяный?

– Ну, насколько верны мои наблюдения, это, скорее всего, похоже на азиатскую холеру, – ответил я, медленно и отчётливо выговаривая слова так, чтобы каждое из них имело вес и значение. Заметьте, что до сих пор я не принимал участия в борьбе.

Это был англичанин, но он собрал свои вещи так же быстро, как некогда американец, и выскочил на платформу.

– Не могу ли я быть полезен? Я – доктор! – закричал он.

Из чулана для ламп раздался усталый, жалобный голос:

– Ещё один проклятый доктор!

А поезд, отошедший от станции в семь часов три четверти, уносил меня на шаг ближе к Вечности, по дороге, избитой и изборождённой страстями и слабостями и борющимися между собой противоречивыми интересами человека – бессмертного властелина своей судьбы.